

О, были б помыслы чисты!  
А остальное все приложится.

*Булат Окуджав*

«**А** я приду к тебе, мой милый, из безвозвратной стороны», — шепчет, мурлычет себе под нос жена Дина, а я, дурак, никак не могу понять, что за безвозвратная сторона. Когда доходит, становится страшно. Сам в эту сторону еще не хочу, а Дина... Свое желание скорей туда попасть объясняет усталостью, желанием покончить с тем, чего натерпелась в этой, земной, жизни. Натерпелась же много, ох как много...

Ей было четыре года, когда толстая, жирная, вонючая тетка, отбросив ее рукой, прошипела непотребные слова, означающие национальность. Дина не заплакала, а побежала к маме спросить, что все означает. Мама — красавица, комсомолка в красной

косыночке, почему-то заплакала, и плакала долго, неутешно. Потом Дине много встречалось таких теток и дядек. Она тоже плакала, но ничего не изменилось. Я — русский, православный, но как же ненавижу этих теток и дядек! Как ненавижу!.. Мог бы — задушил...

Родился в Подмосковье в тридцать третьем и, кажется, помню себя с пеленок. По крайней мере, главное воспоминание самого раннего детства — спеленутость, несвобода. Мне всегда хотелось вырваться из пут, а потому, став постарше, ненавидал тесную одежду.

Родители приехали в Подмосковье на какое-то время: в Москве жили все близкие родственники матери. Отец родом с Урала, из

Челябинской губернии. Жили на Урале в совхозе, чтобы как-то прокормиться: я был уже третьим ребенком. Мать, как и отец, окончила финансовый техникум и всю жизнь проработала в сберкассе. Уходя на работу, они совали мне в рот нажеванный и завернутый в марлю хлебный мякиш, а мои две няньки — четырех и трех лет братья — убегали на улицу. Я заходил в голодном крике. Оттого и рос рахитичным, долго не ходил, не говорил. Мычал.

Наверное, так скудно жили тогда не все: на селе многие имели хозяйство, скот, огороды. Мои же интеллигентные родители абсолютно ничем не располагали, кроме троих детей и мизерной зарплаты. Отец, хотя работал фин-

инспектором, взятком не брал — не мог и подумать об этом.

Отца не помню, но, по рассказам матери, он был неутомимым оптимистом, и когда спрашивали: «Митя, как живешь?», бодро отвечал: «Хорошо живу: под головой — мешок с мукой. Подушки нет. Молоко детям ношу в ведре: другой посуды нет...» Был предельно честным, открытым, веселым.

Не помню его потому, что погиб он, когда мне было всего полтора года. Мы с братом Геней сильно болели, нужно было лекарство. На рабочем поезде он поехал в Челябинск. Возвращаясь — поезд замедлял ход — прыгнул, упал и ударился головой о рельсы. В беспмятстве отвезли в город, в больницу. Там и нашла его мать. Он ее не узнал. Теперь, может, и спасли бы. Ему было чуть за тридцать. Нам, ребятам, — четыре, три и полтора года.

Отплавав положенное, мать решила возвращаться в Москву к своим родным, но не больно-то ее ждали. Жилая площадь, с которой уезжала на Урал на практику, где вышла замуж, была занята старшей сестрой. Ей пришлось искать пристанище в Подмоскowie. Оно нашлось в Красной Пахре.

Мать, Тамара, была красивой волоокой женщиной. Я не волоок. У меня глаза обычные — серые. В молодости были приличные, а теперь... с мешками. Как и мать, почти всю жизнь — очкарик. Мама была пятым ребенком в семье, и ее отец, мой дед, умер, когда ей было два года, а потому накануне Первой мировой отдали ее на воспитание в немецкую общину, то есть в немецкий детский дом. Жили они тогда в Либаве, теперешней Лиелпае. Учась и разговаривая в общине по-немецки, мать плохо говорила по-русски, а когда

началась Первая мировая, попросила старших сестер купить ей православный крестик, чтобы все знали, что она не немка.

Дед со стороны матери был акцизным чиновником. Акциз — это вид косвенного налога на предметы массового потребления. Налог включался в цену товара и был важнейшим источником бюджета страны с рыночной экономикой. В СССР такого налога не было. Акцизные чиновники, надо думать, жили неплохо. Вино, как вспоминали сестры матери, всегда было на столе, пока жив был дед. И хотя богатыми они не были, концы с концами сводили.

Когда началась Первая мировая, немецкая община распалась, мать вернулась домой. Воспитательницей ее стала Надежда, старшая сестра. Разница — восемнадцать лет. Мать была капризным ребенком. Эту черту характера унаследовал и я. Но я капризничаю только дома и никогда на людях.

Женились они с отцом, как говорила мать, по любви, потому смерть отца перенесла тяжело. Старшего сына Сашу при отъезде с Урала на время попросили родственники отца. Она отдала и, как оказалось, навсегда, хотя Саша, став взрослым, часто к ней приезжал и, по-моему, обиды не держал.

Несчастные не очень кому-то нужны. Место матери в Москве было занято старшей сестрой Соней и ее семьей. Бабушка, мамина мать, теперь сама жила в приживалках, и нам пришлось ехать в Пахру. Здесь дали и работу, и комнатку при сберкассе: маленькую — метров десять. Мы втроем вполне прилично разместились. Даже кот с собакой немедленно появились: животных мать любила. В сельской местности собака и кошка обычно дармоеды: их можно обидеть, не кормить. Мать делилась последним.

Жили на крошечную материнскую зарплату. Тогда, в отличие от теперешнего, в сберкассах платили сущие копейки. Никакими «шахер-махерами» никто не занимался: тут же упрятали бы за решетку. За отца никакой пенсии не дали, так как погиб не «при исполнении служебных обязанностей», да и вообще пенсий в то время практически не было. В Пахре люди жили натуральным хозяйством, и жили неплохо — не голодали. У нас же, кроме двух маленьких грядок, ничего не было: соседи не желали делиться ни землей, ни сараюшкой. Что могла предложить детям одинокая женщина, кроме одноразовой похлебки и кусочка хлеба? Когда я сильно заболел, мать позвонила в Москву сестре Надежде. Бездетная Надежда, недавно вышедшая замуж за иностранца-политэмигранта, предложила забрать меня. Обе понимали: в Пахре я умру.

Надежда забрала меня полугодовалого, и с этого времени стал я московско-арбатским мальчиком. Моя московская жизнь — с некоторыми перерывами — продолжается и по сию пору, хотя теперь живу, конечно, не на Арбате.

Жизнь Надежды, сестры матери, что забрала меня, была — хоть пиши роман! Из-за того, что отец умер рано, не поставив детей на ноги, трудиться начала в четырнадцать лет: посадили в магазине за кассовый аппарат. Всю жизнь работала много и разнообразно, официально выйдя на пенсию в семьдесят лет. Но и после семидесяти подрабатывала массажем. Хотя не кончила гимназии, писала очень грамотно, потому как всегда читала. До революции работала мелким чиновником на почте, в учебном округе, выучилась печатать на машинке.

Надежда жила в Вильно. Любил его бесконечно. И вообще, благоденствен тот, кому уда-

способ увидеть этот город, каким был и каким остался — причудливо-барочным, с итальянской архитектурой, перенесенной в северные края, городом, где история запечатлена в каждом камне, городом сорока католических костелов и множества синагог — до массового отъезда евреев. Евреи в те далекие времена называли его Иерусалимом Севера. Свою любовь к Вильно Надежда передала и мне: так случилось, что я учился — заочно — в Вильнюсском университете.

Очень редко Надежда рассказывала мне о гражданской войне: как одни русские мужики убивали других русских. На ее глазах красные вытаскивали из поездов тех офицеров, которые не сняли с себя погоны, и расстреливали тут же, на месте. В сорок третьем, во время Второй мировой, когда в советской армии ввели погоны, она горько плакала: видно, вспоминала картины убийств. Очень осторожно, но еще в сороковые, как-то сказала, что когда Николай II отрекся от престола, поняла, что Россия погибла, хотя монархисткой, как сейчас понимаю, никогда не была.

Служа в санитарном поезде и ухаживая за сыпнотифозными, заразилась тифом. Каким-то путем, уже больная, попала в Одессу, которая в то время была у белых. Как потом оказалось, мать и сестры считали ее давно погибшей. Переболев и выбравшись из ямы смерти, снова стала работать медсестрой. И тут на пути ее встретился врач Михаил Жданов. Надежда официально вышла за него замуж — даже фамилию поменяла, но Жданов оказался кокаиинистом. Наверное, потому ее первая беременность окончилась выкидышем, причем таким, что она больше не имела детей.

Из Одессы они со Ждановым попали в Новороссийск и здесь пе-

режили эвакуацию белых, которая запомнилась кошмаром. Когда судьба забросила их в Джанкой, зеленый крымский городок показался тихой пристанью. Но пагубное пристрастие доконало Жданова: в середине двадцатого года он умер.

Пережив весь ужас взятия Джанкоя красногвардейцами, не знала, что делать дальше: оставаться в Крыму или возвращаться к родным, которые жили в то время в Питере. Думаю, если бы оказалась в Севастополе — ушла бы в эмиграцию, но она стала пробираться на север, в Петроград, не зная, что родные уже живут в Москве. Продав последние ценные вещишки, из Питера подалась в Москву.

Москва встретила не распростертыми объятиями: родные сами ютились в коммуналке, в двух маленьких комнатухах. И здесь на помощь пришла виленская подружка, которая уже достаточно давно обосновалась в Москве и жила на Знаменке — потом улице Фрунзе, а теперь снова Знаменке, что в десяти минутах ходьбы от Боровицких ворот Кремля. Дом по тем временам был шикарный. В квартире, куда подселась, проживал когда-то преуспевающий врач. Их одиннадцатиметровая комната казалась раем, а вскоре подруге за доброту подфартило: попался хороший человек, взял замуж. Комната осталась за Надеждой. Это было в двадцать втором, и она прожила в ней пятьдесят лет. Не очень давно поинтересовался теперешней судьбой квартиры — сходил. Меня не пустили дальше шикарно отделанной прихожей: квартира опять стала не коммуналкой. В ней царствует богатая бизнесменша.

Живя с двадцать первого года в Москве, Надежда никогда не покидала город, даже в войну. Потому и комнату сохранила:

иначе кто-нибудь обязательно бы оттапал. Работала только в медучреждениях сестрой, а последние пятнадцать лет — перед пенсией — массажисткой. Труд — физический, тяжелый.

Ведя, как говорится, праведный образ жизни, все свободное время, а его было очень мало, читала. Любила театр, но денег всегда не хватало. В конце двадцатых годов познакомилась с итальянским политэмигрантом Марио Дечимо Тамбери.

\* \* \*

Одинокой женщине нужен друг, муж, помощник. И он нашелся: соседи с пятого этажа познакомилась с иностранцем — политэмигрантом из Италии, коммунистом. Марио, хотя и был мелким торговцем, бежал от фашизма. Он повел Надежду в ЗАГС, и она стала Надеждой Ивановной Тамбери. Так написано и на ее гробовой доске. Оба молодожена были на пятом десятке. О детях не могло быть и речи, а потому очень привязались ко мне. Так как оба работали, ко мне взяли няню — девочку из деревни. Зарабатывал Тамбери хорошо: был рабочим на шарикоподшипниковом заводе. Как иностранец, получал спецпайки.

Что помню об итальянце? Вспоминаю, как приходили к нему друзья — шумные, веселые. Приносили гостинцы, играли со мной, называя «бамбино». Они тоже были рабочими, хотя у себя на родине занимались совсем другим делом. Как и Тамбери, бежали от фашистского режима, но в СССР не увидели рая, как грезились издали. Советский «рай» вблизи оказался совсем не прекрасным, и помню, как Тамбери, мешая итальянские слова с русскими, кричал продавцу: «Я — рабочий, ты — рабочий. Почему меня обвешиваешь?!.»

В Италии у него остались жена и сын Ренцо. Фотография Ренцо висела у нас на стене. Марио не знал, увидит ли их снова, увидит ли свою солнечную Италию, но, забегая вперед, скажу: увидел, хотя для этого надо было пройти многим годам и событиям.

Наверное, тот год, что прожил вместе с Тамбери, был самым безоблачным и счастливым. Я быстро начал понимать итальянские слова. Мы постоянно с ним спорили, кому достанется луковица из супа, а намыливая при бритье щеки, он строил мне рожи. Я визжал от страха и удовольствия. По воскресеньям водил гулять на Гоголевский бульвар, и мы прятались друг от друга за деревьями, пока однажды он чуть не выколол себе глаз веткой. Когда Марио волновался, совсем забывал русские слова, я выступал между ним и Надеждой переводчиком, хотя сейчас — хоть убей! — ничего по-итальянски не помню, кроме нескольких слов. Смотри на фотографию, где мы втроем, вижу счастливых людей — по крайней мере, нам с Надеждой было хорошо.

Но счастье всегда недолго. Летом тридцать шестого в Испании начался фашистский мятеж, и уже к концу июля на фронтах Испании на одной стороне плечом к плечу воевали социалисты, коммунисты, анархисты — в общем, антифашисты, на другой — фашисты. На стороне руководителя мятежников Франко были режимы Гитлера и Муссолини. Республиканцев поддерживал Советский Союз. В испанском небе воевали и погибали летчики-антифашисты из разных стран. В августе тридцать шестого вместе с французами, итальянцами, голландцами на стороне Республики сражались советские летчики, а в конце сентября Коминтерн принял решение создать интернациональ-

ные бригады как форму организованного участия иностранных добровольцев-антифашистов в отпоре фашизму. Среди тех, кто поехал в Испанию, многие чтили Сталина и считали своим долгом выполнить его волю. Но было немало и антифашистов с либеральными взглядами, которые вовсе не почитали сталинский режим. Каковы были взгляды Тамбери, судить не могу: был слишком мал. Да и с Надеждой он об этом, наверное, не очень-то говорил. Их связывала теплота простых человеческих отношений. Но потому, что он не вернулся в Союз — а многие итальянцы вернулись, — могу судить, что не был приверженцем Сталина.

Более трех лет длилась гражданская война в Испании, окончившаяся поражением республиканцев. Франкистский режим утвердился и просуществовал до середины шестидесятых годов. Марио был послан — именно послан! — в Испанию в самом конце тридцать шестого, и вместе с ним на войну уехали все его друзья-итальянцы. Мы с Надеждой получили от него несколько открыток с дороги. Одна из Парижа с изображением Эйфелевой башни. Писал Марио на чудовищной смеси итальянского и русского, и когда началась лихая година — тридцать седьмой год, — Надежда все уничтожила.

Марио был очень добрым и, видимо, привязался к нам, но страшный военный молох перемалывает все. Он не вернулся, а итальянец, живший этажом выше, вернулся раненым и больным. Он и сказал, что Марио пропал без вести. Самого соседа тоже вскоре не стало. Только много позже мы с Надеждой поняли, куда он исчез... Мы считали Марио погибшим, но сомнения были. И вот, когда уже началась перестройка, я напи-

сал в мэрию города Ливорно. Ответ пришел через несколько месяцев. По-итальянски сообщали, что Марио умер в семидесятые годы, а совсем недавно умер и его сын Ренцо. Зато живы два внука: Марко и Масимо. Сообщали их адреса. Я тут же написал им подробное письмо, объясняя, кто я. Послал ксерокопию фотографии, где мы втроем. Ответ пришел не скоро, но пришел. Письмо было написано по-русски. Объяснялось, что они, внуки, вместе со своим отцом Ренцо были шесть раз в Москве, пытались найти Надежду и меня — у них тоже была фотография, где мы втроем: они считали меня сыном Марио. Но всякий раз в адресном бюро им говорили, что женщина по имени Надежда Ивановна Тамбери в Москве не проживает. Мы же жили в пятистах метрах от Кремля. Органы бдили...

Не знаю, почему, но переписка с внуками Марио не состоялась, хотя я посылал им приглашение приехать: то ли они не захотели продолжения отношений, то ли опять вмешался злой рок в погонах.

Почему не вернулся Марио? Будучи, видимо, человеком неглупым, он очень скоро понял, что представлял собой тот, чью фигуру возводили в ореол святости. Франкисты, с которыми его послали воевать, во многом были неправы, но и республиканцы не были ангелами: грызлись, как пауки в банке. Человек, к которому бы сословию ни принадлежал, а уж тем более к партии, — грешен, и все эти партии — не более чем отражение кастовости. Марио знал и чувствовал, что ждет его в Советском Союзе: посадят тут же. Вот и решил вернуться на родину, и она простила заблудшего сына. Так что умер он на своей земле, в свое время, в своей постели. А Ренцо искал нас с На-

деждой потому, что считал меня единокровным братом. На брата ему, видимо, хотелось посмотреть. Так думаю. А там — кто его знает...

После отъезда Марио для нас с Надеждой потянулись «бедные» дни: ни пайков, ни денег. Надеждиной зарплаты медсестры едва хватало на скудный стол и квартплату, хотя и была она копеечной по сравнению с сегодняшним днем. Однако детские книжки она мне покупала: стоили они тогда недорого. Но самое главное: пользуясь тем, что Марио был политэмигрантом, добилась приема у Стасовой и устроила в детский сад, расположенный на нашей же улице. Стасова в те годы была секретарем МОПРа — международной организации помощи рабочим. В садик я пошел как Дима Тамбери.

\* \* \*

В детстве был не последним человеком: во-первых, был грамотен, читал хорошо. Кроме книжек, особенно любил газеты. Во-вторых, был сильным. Руки имел крепкие, как у матери и у Надежды. Мог помериться силой — и мерился! — с любым мальчишкой. Никогда не был задирой и драчуном, но за себя всегда стоял. Из-за начитанности и знания «текущего момента» был признанным лидером. Однако как же не хватало мне мужского внимания! И потому, когда — нечасто — заходил за мной в садик двоюродный брат Олег, был счастлив и горд безмерно. Олег уже служил срочную службу и носил красноармейскую форму. Утром, когда один шел в садик, обязательно отдавал честь постовому милиционеру: дядя Вася хорошо меня знал и улыбался. Был рад, когда приезжал и бывал дома сосед Иван Семенович Савченко —

военный врач. Появлялся он дома редко, но когда приезжал, тихонько стучал в нашу дверь и звал: «Дементий Епифаныч!..» Это он мне такое имя придумал. Я опрометью бежал на зов, радуясь встрече с человеком, от которого пахло кожаными ремнями и хорошим одеколоном. У Ивана Семеновича была дочка, чуть постарше меня, а ему, видно, нужен был, как и мне, мужчина, сын. Вот и теперь, когда смотрю на старые фотографии, вижу себя в фуражке, что подарил Иван Семенович, кительке, перешитом с его плеча, в ремне с кобурой, подаренными им же. В сороковом году Иван Семенович не вернулся из уже советской Риги. Сообщили, что умер от заворота кишок, но Надежда потихоньку говорила своим подругам: отравили...

В эти предвоенные годы Надежда официально усыновила меня: мать дала согласие. Таким образом, у меня оказалось две матери и... ни одного отца. Каждую из них любил по-своему, но всем, что имел в детстве, обязан, конечно, Надежде. А потому уверен: не та мать, что родила, а та, что воспитала.

Предвоенное время помню осознанно и хорошо: всякое воскресенье мама Надя, несмотря на скудный бюджет, куда-то меня вела. Мы много ходили в зоопарк, в музеи, в Третьяковку, в детские театры. Безделья она не терпела и каждую минуту использовала, чтобы чему-то научить. Мама Тамара приезжала редко: не было у нее ни времени, ни денег. Старший брат Гена уже во время войны из пятого класса ушел в пастухи, бросил школу и доучивался в ремеслухе, а позже в техникуме.

Я очень любил ходить к бабушке, что жила, как уже говорил, в приживалках у дочери Сони. Бабушка была добрая и все сетовала, что не имеет денег, что-

бы чем-то одарить внука. Советы не дали ей никакой пенсии, хотя воспитала пятерых детей. Тогда государство так поступало с большинством женщин: на производстве не работала, до революции содержала пансион для студентов. Вот и кукиш... Зять Гриша, родом из деревни, хоть и выучился на врача, но обращение имел, прямо сказать, свинское. Был страшно прижимист. В самый канун войны, не выдержав такого, бабушка уехала к дочери Нине в Одессу. Там и умерла в сорок третьем во время немецкой оккупации.

Мама Надя была строга и неукоснительна. Сама вставала в шесть утра, меня подымала в семь: над моим ухом звенел будильник. Она уходила на работу, а я умывался, одевался, закрывал дверь ключом, клал его в ящик кухонного стола и захлопывал дверь коммуналки. Я тоже, как и Надежда, шел на работу — в садик.

Перед войной летом ездили в Одессу и Днепропетровск к родным, а весной сорок первого впервые познакомился со старшим братом Сашей, который жил на Урале у родственников покойного отца.

Начало войны помню прекрасно. Надежда еще раньше стала уходить, еще позже возвращаться. Садик вывезли на дачу, но тут же вернули. Меня надо было куда-то устроить. Народ эвакуировался. Я попал на улицу Машкова к тетке Соне, которая не работала. Она не имела никакой специальности, но муж Гриша хорошо зарабатывал, служа врачом в тюрьме. У них была единственная дочь, старше меня на десять лет.

К августу сорок первого я сильно вытянулся, был худой, длинный и абсолютно самостоятельный. На улице Машкова была дворовая команда — шпана, пацаны. Они приняли меня в свои

ряды. Чем занимались? Дел было много. Во-первых, Москву уже бомбили, и надо было собирать осколки. За сданный в специальный пункт металл давали какую-то плату, и она была ценностью: купил колечко Надежде. Она его очень берегла. Это были мои первые карманные деньги. Во-вторых, ходили в бомбоубежище рядом с Машковыми банями. В бомбоубежище было противно: люди сидели тоскливые, скучные, дети тоже молчали, но иногда тишину взрывал крик какого-нибудь малолетки. В сентябре школы не открыли, и я был свободен. Сказать, что загрустил — не могу. А в середине сентября на постой к Соне стали военные: среди них был родственник дяди Гриши. Наши тогда под Ельней разбили немцев, и военные приехали на два дня в Москву, чтобы закупить подарки для отличившихся. Как же был счастлив, когда военные приняли в свою компанию! Даже ездил с ними на машине по Москве, выбирая подарочные часы и портсигары.

Фашисты наступали. В Москве началась паника. Мама Надя совсем не приходила домой. Работала и в поликлинике, и в госпитале, где лежали раненые. Не случайно потом была награждена медалями «За оборону Москвы» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Уже после войны ее представляли и к ордену Ленина, но из-за фамилии Тамбери не дали. Я все время был у Сони. Шла тотальная эвакуация. Надежда решила отправить меня в интернат с детьми московских медиков. В самом начале октября был сформирован большой отряд. Командовали взрослые, чьи дети были тут же, в отряде. На Речном вокзале нас посадили на пароход. Путь лежал по Волге в город Марксштадт — в уже ликвидированную республику немцев Поволжья. Плыли более

двух недель. Очень бомбили. Однажды чуть не пошли на дно, но Бог миловал. Разместили в домах немцев, которых в сентябре выслали — как врагов — в Сибирь и Казахстан. Нас разделили на группы по возрасту и полу. Началась новая странная жизнь — без родителей, без близких. Дети были разные. Многие мальчишки писались. Их обмоченные матрасы сушили на печках. Вонь стояла невероятная!

Поначалу не голодали. На Новый год даже дали какие-то подарочки, но весной сорок второго, когда немцев отогнали от Москвы, почти все старшие — руководители — со своими детьми уехали, а нами стали командовать местные. Ту еду, что нам давали, они разворовывали, и мы, кроме крошечной порции баланды раз в день и кусочка хлеба, ничего не видели. Были страшно голодны, и звериные инстинкты тут же проснулись. Ходили учиться в обычную городскую школу и, конечно, отнимали еду у еще благополучных местных ребятишек. Голод делает человека зверем.

Все, абсолютно все обносились и завшивели. Бурки мои так порвались, что голой пяткой и носком ходил по снегу. Иногда мама Надя присылала на имя воспитательницы какие-то деньги. Тогда мчался на базар купить молока и тыквенного повидла: очень хотелось сладкого. Но главная задача состояла в том, чтобы не остаться без пайки хлеба: этот кусочек выдавали рано утром, и на раздатчика набрасывались сворой. Чуть-чуть замешкаешься — останешься без пайки. Пайку надо было растянуть на день, но съедалась она тут же...

Учиться в первом и втором классах было нетрудно: прекрасно читал, азы арифметики тоже знал, а вот писал грязно. Никто на нашу учебу внимания не обращал: у взрослых свои

проблемы, и лето сорок второго были предоставлены самим себе. Получив пайку, убегали на весь день из интерната в поисках хоть какой-то пищи. Лазали, где хотели, и однажды попали на баржу, забитую снарядами. Снаряды были гладкие, блестящие, и, прихватив несколько — они были тяжелые, — побежали домой, в интернат. Если бы не невесть откуда-то взявшийся охранник, не писал бы эти строчки. Он заставил потихоньку отнести снаряды и положить на место. Не бил, но очень ругался, попутно объясняя, что это за «игрушки». С тех пор запомнил: подходить к взрывоопасным предметам и брать в руки — смертельно.

Вторая зима и учеба во втором классе запомнились только голодом. А еще довоенными кинокартинами в старой кирхе. Помногу раз смотрели одни и те же фильмы.

Надежда приехала за мной только в августе сорок третьего. Как добралась — один Бог знает. Я был счастлив: кончалась бездомная жизнь. К этому времени меня уже перевели в местный детдом, где стало намного лучше: в детдоме были порядок, дисциплина и хоть какая-то еда. Но была и ежедневная работа: сажали, пололи, ухаживали за посевами, а главное — собирали лекарственные травы, главным образом полынь. Руки становились очень горькими, но какое это имело значение, если за собранные мешки травы давали по два блина. Блины — от рук — тоже были горькими.

Жестокий стоматит не миновал и меня. С высокой температурой положили в маленький стационар, и какое же было счастье, когда вечером мы — несколько больных детей — выстраивались в очередь к корове. Кружка для парного молока была наготове. Корова была ласковая.

\* \* \*

В середине августа, как уже говорил, мама Надя меня забрала. Добирались с приключениями, но первого сентября пошел в третий класс школы № 64, что была прямо напротив окна нашей комнаты. Школа была знаменитая.

В начале октября — однажды — вдруг жуткая боль пронзила все в животе. Мама Надя была на работе. Пожаловался соседке. Она принесла грелку. Боль еще усилилась, стала невыносимой. Соседка вызвала скорую. Не писал бы эти строчки, если бы не оперативная помощь врачей: обнаружили гнойный аппендицит, который должен был вот-вот прорваться. Запомнил операционную, хлороформ, полный провал сознания, потом палату. Ни рукой, ни ногой не мог пошевелить, но на поправку пошел быстро, хотя провалялся больше месяца. Безделье нравилось: кормили, поили, можно было читать книжки, но когда явился в класс, увидел, что безнадежно отстал. В арифметике, особенно в дробях, ничего не понимал. Классная руководительница сказала, что будет переводить классом ниже. Мама Надя очень расстроилась, даже расплакалась, что случилось с ней крайне редко, и стала упрашивать, чтобы этого не делали, пообещав, что все наверстаю. Помог сосед Женя Расс, который был старше меня на несколько лет и о котором еще расскажу.

На троечки и четверки окончил третий класс, но в четвертом школе от меня, как от многих других слабаков, отказалась. В Серебряном переулке Арбата открылась новая школа, где собралась вся арбатская шпана. Шпана была отпетая. Я не был шпаной, но был безотцовщиной, играл в пристенок, чтобы заработать хоть немного денег. Что такое игра в пристенок, не буду объяс-

нять: кому кому нятья, пусть прочитает рассказ Распутина «Уроки французского».

Учился старательно: очень хотелось вылезти в хорошисты. Кроме того, приняли в пионеры — надо было оправдывать доверие. Правда, пионерский галстук носил только в школе. За воротами тут же снимал: не мог же ехать на троллейбусной колбасе в галстук...

Учился во вторую смену, но время до школы было расписано по минутам: в семь тридцать обязательно должен был быть у магазина в очереди за хлебом. Ототваривание карточек лежало на мне. Если моя и Надеждина пайки оказывались с довесками, они были моими. Медленно, по крохотному кусочку съедал их по дороге. Кроме ототваривания карточек, каждодневным делом стала мелкая спекуляция. На деньги, выигранные накануне в пристенок, утром покупал в кинотеатре «Художественный», что на Арбатской площади, два билета на вечерний сеанс. Возвращаясь из школы, продавал эти билеты за двойную цену какой-нибудь парочке. Оставались деньги на дневной билет себе и на мороженое: больше ничего без карточек купить было невозможно. Иногда этот «бизнес» заставлял прогуливать уроки, но жить и крутиться нужно было. Разве в пионерском галстук мог обдывать такие делишки? Галстук был глубоко в кармане.

Мать Надежда, конечно же, ничего не знала об этой моей второй жизни. Когда поздно вечером возвращалась домой, я был примерным мальчиком, читающим книжку либо играющим с Женей Рассом в шахматы. Рассы жили под нами, на втором этаже, и две их комнаты принадлежали им и только им: дед и бабка Жени были врачами и имели частную практику. В одной комнате они жили впятером, в другой

был врачебный кабинет. Адель Абрамовна была стоматологом, Самуил Моисеевич — «ушным» доктором. Видимо, они были хорошими врачами, потому что народу к ним ходило много. Когда у меня болели уши или зубы, лечили абсолютно бесплатно и без особой боли.

После войны, когда началась кампания сорок восьмого года против евреев, по навету соседней, завидующим им, их обоих арестовали: якобы нелегально доставали золото. Кабинет, конечно, отобрали. Сидели старики не очень долго — их выслали в Казахстан, в Кызыл-Орду. Когда еврейско-врачебная волна схлынула, разрешили вернуться, но вернулись их тени... Самуил Моисеевич вскоре умер, а Адель Абрамовна превратилась в маленькую скрюченную старушку, задыхающуюся от астмы. Когда стал взрослым и курящим, она приходила ко мне за папироской: ей, курившей всю жизнь, родные не разрешали — из-за здоровья. Она уже не выходила из дома и денег своих у нее не было.

До трагических событий сорок восьмого года Рассы материально жили хорошо, и мама Надя частенько одалживала у них деньги. Когда я приходил к Жене, меня обязательно чем-нибудь угощали. У них впервые увидел и попробовал пиверную колбасу: Надежда никогда не покупала никаких колбас. Если была возможность — кусочек мяса: из него выходили и суп, и второе. Однажды тоже решил угостить Женю: поджарил на рыбьем жире картошку. Жир покупали в аптеке. Он стоил копейки. Женя побежал в туалет — его вырвало. Я же спокойно съел всю картошку.

Четвертый класс закончил четверочником и был доволен. Только одно обстоятельство ущемляло: ребята, у которых на фронте были отцы, — да еще

офицеры! — очень гордились, иногда даже выпендривались. Носили кожаные полевые сумки, присланные с фронта, а не противогазные, в которых мы таскали свои тетрадки и книги. Было обидно... В конце четвертого класса записался в детский отдел Ленинской библиотеки: она была рядом. Как равноправный, законный читатель, приходил в нее очень часто. В библиотеке познакомился с Валею Петерсом. Они с сестрой и матерью жили по соседству в маленькой келье бывшего Крестовоздвиженского монастыря. В келье жили не всегда: раньше их квартира была в доме для политэмигрантов, но когда отца — латышского коммуниста — посадили, им пришлось переехать. Валя был очень начитанным, умным, спокойным. С ним было интересно. Ездил — нечасто — на Машкову улицу. Дворовая команда распалась. Встречался там с Колей Агаповым, вместе с которым был в эвакуации. Коля жил с сестрой и матерью в комнате с большим итальянским окном. Раньше вся квартира принадлежала им, но отца арестовали, и им оставили одну комнату. Мама Коли была учительницей музыки, к ней приходили ученики.

Летом сорок пятого — война уже кончилась — Надежде удалось отправить меня в пионерский лагерь. Был доволен: там неплохо кормили. Но однажды в родительский день, когда вместе со всеми ждал приезда матери, увидел ее и испугался: она шла позади всех — тащилась. На фоне других выглядела совсем старухой... Ей было пятьдесят девять, но она была измождена непосильной работой и годилась мне в бабки. Сердце мое заныло.

Пятый класс ознаменовал продолжением «бизнеса»: киношные билеты. В Москве хоть и были еще карточки, появлялось все больше и больше соблазнов. В Военторге уже был коммерческий отдел, где можно было без карточек купить многое. Цены, правда, были заоблачные!.. Однажды маме Наде позвонили на работу и сказали, сколько у меня пропусков. Вечером был разговор со слезами. Я дал обещание больше не пропускать школу, но совсем отказаться от «бизнеса» не мог: ведь необходимы были хоть какие-то карманные деньги.

Мальчику очень нужен отец. Вот потому, когда после войны у нас поселился двоюродный брат Толя, был очень доволен. Надежда ворчала: в одиннадцатиметровке мужчина под два метра занимал слишком много места. Толя не был на фронте: как инженер, вместе с Химкинским авиазаводом находился в эвакуации в Ташкенте. Завод вернулся в Химки, а жилье кто-то занял. Я много получил от него: по возрасту он годился мне в отцы. Толя был болельщиком футбольной команды ЦДКА — это теперешний ЦСКА. Если брал с собой на «Динамо», билеты были обеспечены: Толя хорошо зарабатывал. Когда ему дали жилье, я, приобщенный к спорту, болел за ЦДКА уже один. Чтобы попасть на стадион, мы, безденежная шантапа, перелезали через высокий забор, а потом собирали толпу человек в пятьдесят и силой продавливались сквозь заградительный кордон у входа. Билетерши нас боялись и особо не препятствовали, хотя для порядка свистели и звали милицию. Уверен, у них

были такие же сыновья, и они нам сочувствовали. Пробившись на стадион, просачивались, рассредоточивались, старались стать невидимыми.

Многому научил меня Толя: обращать внимание на красивые женские ноги, аккуратно одеваться, хорошо писать. Я старался. Хотя в математике тянул всего на тройку-четверку, в гуманитарном отношении был подкован: именно в пятом классе впервые прочитал «Войну и мир», правда, опуская философские рассуждения.

В каникулы Надежда отправила меня к маме Тамаре в Пахру. Добираться было сложно. От Калужской площади ходил старенький автобус, но от автобуса километров десять надо было топать пешком. Однако это были сущие пустяки по сравнению с расстоянием от Пахры до Подольска: здесь надо было пройти восемнадцать километров. А ходили деревенские ребята в Подольск продавать цветы, которых в полях, окружавших Пахру, было невероятно много. Полно было ягод и грибов. Все собранное несли в Подольск: только там на рынке можно было продать. Продавали за копейки, но на хлеб зарабатывали, а есть все время хотелось. После удачного базарного дня с удовольствием уминали хлеб иногда с грачиным супчиком. Не считите извергом, но грачиные гнезда разоряли вместе с братом Геней. Местные, пахорские, у которых было хозяйство, иногда предлагали накормить картошкой с салом, только чтобы гнезд не трогали. Случалось это крайне редко, а есть хотелось каждый день.

Продолжение следует.

г. Москва